

Родился я 30 октября 1877 года в Подлесной Слободе, Рязанской губернии Зарайского уезда, мои отец и мать были бедными, но трудолюбивыми и добрыми людьми.

Но несмотря на хорошие качества моих родителей — ^{мне} их лаской пользоваться почти не приходилось. Не было досуга. Нас — детей обо-его пола — была целая орава.

В старое время бедные грехи и не знали ухищрений уничтожать на корню потомство, а поэтому моя мать подарила белому свету двенадцать душ обо-его пола. Добрая половина из них умирала в младенчестве.

Я помню лишь трех братьев и двух сестер, из которых я был по рождению предпоследним. Их давно уже нет. Старший брат работал в Москве на обойной фабрике, умер от чахотки. Второй — будучи слесарем Коломенского завода, поднял что-то тяжелое и получил заворот кишок. Скончался в больнице. Последний брат, слепой от рождения, закончил свою судьбу в одном из приютов. Одна сестра всю жизнь была монахиней, вторая старую девой. Она была из некрасивых, и не было приданого, чтобы выйти замуж.

Первая страница рукописной автобиографии М.В. Праскунина

Родился я 30 октября [по старому стилю — прим. ред.] 1877 года в Подлесной Слободе, Рязанской губернии Зарайского уезда. Мои отец и мать были бедными, но трудолюбивыми и добрыми людьми. Не смотря на хорошие качества моих родителей, мне их лаской пользоваться почти не приходилось. Не было досуга. Нас — детей обо-его пола — была целая орава. В старое время боялись греха и не знали ухищрений уничтожать на корню потомство, а поэтому моя мать подарила белому свету двенадцать душ обо-его пола. Добрая половина из них умирала в младенчестве. Я помню лишь трех братьев и двух сестер, из которых я был по рождению предпоследним. Их давно уже нет. Старший брат работал в Москве на обойной фабрике, умер от чахотки. Второй — будучи слесарем Коломенского завода, поднял что-то тяжелое и получил заворот кишок. Скончался в больнице. Последний брат, слепой от рождения, закончил свою судьбу в одном из приютов. Одна сестра всю жизнь была монахиней, вторая старую девой. Она была из некрасивых, и не было приданого, чтобы выйти замуж.

Отец и мать умерли, когда мне было за тридцать лет.

Трудовую жизнь я начал по окончании трехклассной церковноприходской школы. Начал с паствушества. <Когда мои сверстники ребяташки дразнили меня паствушонком, я отвечал, что царь и псаломпевец Давид тоже пас скотину. Озорники

уходили посрамленными, и я радовался в душе, что не пропало даром время, потраченное в школе. — **зачёркнуто авт.**>

Кстати, о церковноприходской школе. Она давала знания читать, писать. Знать четыре правила арифметики, упрощенную историю, такую же географию. В ней главным считалось знание «ветхого и нового завета», порядка совершения церковных служб. Ученики бегло читали славянский язык, испещренный титлами и другими за-кавычками. Знали наизусть большинство молитв. Старшеклассников по очереди обязывали читать по воскресеньям у заутрени шестипсалмие. Шесть псалмов царя Давида. Не знаю, как другие, а я переживал нечто в роде пытки. Выступать сопляку мальчишке перед большой молящейся аудиторией не так просто, когда на абиях, аще и дондеже нередко спотыкались даже дьячки.

В церковноприходских школах закон Божий занимал такое же место, которое теперь занимает политграмота в нынешних училищах, если не больше.

Яшка и другие
У дьячка в науке,
Где азы и буки
Тянут к литургии,
А глаголь и веде
К колокольной меди.
Чуть ссутуль лопатки,
Скрипки лишь скамейкой —
В миг по лбу линейкой,
Книгой по сопатке.
С божьего престола
Чем еще не школа.
Кое-как, но вырос
Грамотеем Яшка:
В пазухе бумажка —
Спутница на клирос.
Сколько ж за науку?
Три кошолки луку.

Вот стихотворная зарисовка школы, которую я одолел не последним. Обременительной она не была, если не считать некоторые «приношения» натурой наставникам.

Все ученики обязаны были ежегодно Великим Постом быть на исповеди. И вот какой она была. Группами в 4–5 человек ребяташки подходили к попу, клали копейки и семитки и обязательно свечку. После чего спрашивалось: «В Бога веруете?»

- Веруем, батюшка, — следовал ответ.
- Яблоки в моем саду трясли?
- Грешны, батюшка.
- Больше не будете?
- Не будем, батюшка.
- Идите, Бог простит.

Скоро и хорошо, несколько медяков в кармане и сад почти <...> застрахован. Конечно, все это забывалось. Нет на свете такой силы, которая бы запретила ребяташкам заглядывать в чужие сады, в особенности поповские.

После школы два лета я стерег в своем селе смешанное стадо овец и телят. С весны пасти было

трудновато. Животные с разных дворов; пока они не обнюхаются, то враждуют и стараются пастись в разброд. Мир и согласие наступают с появлением в изобилии травы и более ласкового солнышка.

Самое лучшее время у стада – осень. Хлеба убраны, потравы не наделаешь. Овцы и телята не капризничают, пасутся по-приятельски. В криках и кнутах не нуждаются. Смастерив из тростника какую-нибудь свистульку, наигрывай сельские мелодии хоть целыми днями. В холодное время можно было погреться у костра, а от ветра были хорошей защитой межи с густой полынью. Привалишь поплотней и фантазируй сколько душе угодно. А самое главное, осень была хороша тем, что в это время начинался окот. Он давал пользу и славу. Новорожденных ягнят в поле не оставляли. Как только овца вылизет досуха малыша, берешь его на руки, прижмешь к груди и несешь в хозяйство. Рядом идет овца, не было случая, чтобы мать не шла за детенышем. А сколько было ласки и благодарности в овечьих глазах? В тревожном бляеньи чувствовалась просьба – пастушок, не урони, ради бога, моего детеныша! Я встречал в жизни матерей, которым не грешно было бы поучиться очень многому у животных.

За каждого доставленного в хозяйство ягненка перепадал пятак или оказывалась за пазухой какая-нибудь вкусная лепешка. Кроме этого, из двора во двор шла хорошая слава о человеческой смекалке подпасков. Осенью были и харчи лучше, и народ добрей. Поля оплачивали труд земледельца, хотя и не всё поступало в крестьянские закрома.

У стада нас было двое. Моим товарищем по кнуту был мой сверстник односельчанин Петька Кудин. Впоследствии он превратился в Петра Федуловича, а для этого ему нужно было кое-где побатрачить, сделатья крепким парнем, потом матросом, заслужить Георгия, защищая от японцев русскую крепость Порт-Артур в 1904–1905 гг., жениться и устроиться дворником в Москве у некоего богача. В моё время почёт доставался не даром. Разным «разуваемым» он, конечно, давался проще. Достаточно было кой-кого поограбить, построить питейный или лавку, пожертвовать некоторую толику на храм божий, завести знакомство, хотя бы с урядником, – и дело в шляпе. Из сопливого Титка проходимец делался Титом Захаровичем Чистоплюевым.

Хозяин Петра Федуловича в октябрьскую революцию удрал за границу, оставив на временное хранение дворнику около трех пудов столового серебра и еще какие-то ценности. Хозяин не вернулся, а серебро не нашло нужным разыскивать адрес владельца. Петра Федуловича давно уже нет. Да будет земля ему пухом. Мне жаль Петьку Кудина, задушевного товарища, смышленного мальчишку, фантазёра и выдумщика.

Вот два случая, автором которых был Петька:

Как-то в августе мы выгнали стадо на скошенный луг нашего сельского причта. На взгорке, рядом с лугом был поповский сад с калиткой в сторону стада. Петька открыл калитку и тут же около десятка телят отправились лакомиться травой в батькином саду. Петька, освободив кошель от харчей, взял кнут и отправился за телятами. Наполнив карманы, пазуху и кошель яблоками, Петька поднял отчаянный свист, а щелканья кнута сделались пистолет-

ными выстрелами. На гвалт не преминула выйти попадьё и спросила, что делается?

– Телята зашли в сад, нужно выгнать.

И обе стороны были довольны.

Кроме игры на свирельках, мы у стада учились пускать с кнутов камушки. Растянешь кнут змеей, привяжешь на волосаной конец камушек, размахнешься во всю силу и камушек летит с визгом и свистом шагов на триста. Однажды при перелёте диких гусей в тёплые края, большая стая села подкормиться на скошенном гороховом поле. Петька подал команду зарядить камушками кнуты, и мы тут же поползли ложбиной к пастбищу гусей. Когда мы поднялись, часовые гуси немедленно дали сигнал и вся пернатая артель поднялась в воздух. Просвистели два камушка, и один гусь с перебитым крылом упал на пашню. Кто из нас подбил птицу, неизвестно. Известно лишь то, что Петька был главным вдохновителем своеобразной охоты. Не раз нас поливало дождем, припекало зноем. Не однажды шелушилась кожа на носах, на руках и ногах, водились цыпки. Но все-таки мы были довольны и даже несколько горды. Нам доверялось около трехсот овец и десятков пять телят. Нанимал нас не отдельный хозяин, а целое общество, считая нас лучшими из желающих наняться к стаду.

Составляя с Петькой одно целое, мы однако расщеплялись [*так в рукописи – прим. ред.*]. На Петьке лежали все выдумки и затеи, а на мне была обязанность отгрызаться. Нас нередко дразнили ребяташки «овечьими повитухами» и «телячьими хвостыми». Зная кое-что из священной истории, я заявлял, что царь Давид и многие пророки не гнушались быть пастухами. И обидчики оставались посрамленными. Многие из них учились в той же церковноприходской школе, где я получал познания о библейских царях и пророках. Я прожил три четверти века с гаком, а мне до сей поры иногда снятся – три отрока в печи огненной, пророк Даниил во рту львином, Илья и Енох в облаках на огненной колеснице, Иона во чреве китовом и много другой чепухи, присосавшейся когда-то давно к моим мозговым пластинкам.

Как хорошо и дорого, что головы наших детей и юношей наполняются более ценным грузом, чем отживающие чудеса и страхи и путанные символы автора с острова Патмоса.

Когда я пастушил, мой отец подходил к старости. Стал недопомогать; плел лапти, что являлось главным заработком в нашем хозяйстве. В зимнее время я был в лычном промысле его «правой рукой». Отец проплетал, сажал на колодку, а я занимался подковыркой – убирал концы. За сутки с нашего конвейера сходило 6–7 пар мужицкой обуви. Чистая прибыль за месяц равнялась 10–12 рублям. Тогда было всё дешево и без хлеба мы не сидели. Иногда даже скоромились. Для этого накупали «отходы»: ливер, требуху и другие мясные «лакомства» тогдашней бедноты.

Пятнадцатилетним пареньком меня отец устроил половым в трактир разбогатевшего луховицкого мужика. Первый год меня расценили в 25 р., второй – в 40, на третий год в 60 р., но я не согласился и ушел. К этому времени я стал подрастать и понял, что трактир не является трудовой школой. Чему можно было там научиться? Обсчитывать пьяных, обманывать обманщика хозяина? Делать лакей-

скую рожу в ожидании чаевых и приобретать наглостью вылезать сухим из воды, когда кого-нибудь опускаешь? Можно было сколько угодно научиться матерщине и пьянству. Не знаю, кому и чему я обязан, что к дурному у меня не было в молодости никакой склонности.

Самым противным делом была работа убирать грязь за пьяницами. Иные приходили в трактир, будто с умыслом, чтобы изрыгнуть гортанью всю погань желудка. В трактир *<зачёркнуто авт.>* иногда приносили похабные анекдоты и такие же карточки. Прохвосты и тогда водились. Люди, вкусив городской мерзости, не стеснялись загрязнять деревню.

Теперь немного о хозяине. Он был богатырского роста. С цыганским обликом, с красивой темно-русой бородой, с небольшим брюшком. Ему в то время было около 40 лет. В грамоте он был слаб, но человеческой смекалкой, в особенности торговой, обижен не был. В торговых делах был прозорлив и находчив. Кроме трактира с водкой, у него была лавка, пекарня и посадочная мастерская, где из конской дубленой кожи выработывались цельные вытяжки (голеница), головки и все необходимое для холодной обуви.

Луховицы насчитывали приблизительно 600 дворов. В селе имелся базар, множество чайных, лавок и палаток. С водкой был только этот трактир – отсюда понятно, что в базарные дни происходило. Особенно осенью, когда мужики чувствовали себя маленько побогаче. Торговля водкой одному в селе приобреталась с торгов: кто наносил больше, тому сход и вручал право спаивать народ. «Казёнок» тогда еще не было. Сколько же мой хозяин платил обществу? Первый год – 1800 руб., второй – 2000. Деньги по тогдашнему времени немаленькие.

Мне неизвестно, с чего хозяин начал, а чем кончил – я знаю. На втором году моей службы, осенью, он повез в Москву около десятка тысяч рублей для расчета с кредиторами, заглянул в злачное заведение и вышел оттуда в чём мать родила. После этого – домашние ссоры, пьянство и «своя рука владыка» младшего брата. Попытка зарезать собственную мать, Голеньщина (сумасшедший дом под Рязанью) [*Голенчино. Существует и в настоящее время – прим. ред.*] и полная бедность. Свидетелем краха я не был. Я ушел от хозяина годом раньше.

Нас, служащих и рабочих, было шесть человек. Стол был хозяйский, кормили неплохо. Но стоило куда-нибудь уехать или отлучиться хозяину, а это было частенько, нас его мать-ведьма морила чуть не голодом. Угощала таким варевом, от которого собаки отворачивали морды. Многие из нас жалели, что её сын неумело пользовался ножом...

Два раза в году, на Пасху и Рождество, нас дарили штанами и рубахами. Кроме того, большие получали по 5 руб., а я трешницу, наличными. Это была уловка. После такой хозяйской «милости» было как-то неудобно заявлять какие-либо претензии. Подарки и чаевые были попросту подвохами, если не ловушками.

Покинув трактир, пьяниц и хозяйку старую ведьму, я некоторое время батрачил. Научился пахать, косить, метать стога и уважать кормилицу землю.

В год коронации Николая Второго я был «коронован» в рабочие Коломенского завода, мне было тогда 18 лет. Я не знаю, был ли тогда расцвет про-

мышленности, но свидетельствую, что работа добывалась с трудом. Тогда моя сестра (старая дева) была в прислугах у бухгалтера Коломенского завода – немца Краузе. Вот через него-то я и устроился на работу, предварительно потратив три дня на шефа. Я очистил от мусора его сад, посыпал все дорожки песком и около пяти саженной переколот дров. Кормили меня на крыльце хозяйской кухни. Жена бухгалтера, немка, недолюбливала русских. Сестра жила лишь потому, что она была чересчур безответна, не воровка, и довольна была тем, что дают. Самая большая сила делать людей невзыскательными – это нужда.

Начал я свою лямку пешим рабочим конного двора при заводе. Мне вручили мусорную совковую лопату, жалованья назначили 50 коп. в день, прикрепили к десятнику, и я приступил к труду.

Многие сейчас не поверят, чтобы молодому и здоровому парню была красная цена 50 коп. в день, при одиннадцати часах рабочего времени. А это было так. Наглотавшись в течение года разной пыли, нанюхавшись вдоволь гари, я перешел в чугуно-литейный цех завода чернорабочим с оплатой 70 коп. в день. Лишний двугривенный доставался мне даром. Приходилось носить в ковшах с литейщиками расплавленный чугун, выбивать еще не остывшее литьё из опок, работать на ручных подъемных кранах. Хорошо, что мне посчастливилось. Я приглянулся мастеру, вероятно, за трудолюбие, и был взят курьером в контору, где я научился вести некоторые книги и перед солдатчиной в 1899 г. я получал уже 90 коп. в день.

Общение с интеллигенцией меня несколько отшлифовало. В конторе был начитанный табельщик некто Устинов, вот он и заставил меня полюбить книжки. Я и сейчас говорю ему спасибо.

После солдатчины я снова явился в чугуно-литейную, но не в контору. Начальство решило сделать из меня мастерового, стерженщика или шишельника, что одно и то же. Квалификацию эту я одолел успешно и до августа 1899 г. [*автор здесь ошибся, следует читать 1909 г. – прим. ред.*] был токарем по глине с заработком в 35–40 руб. в месяц.

Летом, кажется, 1908 г. в Лодзи был объявлен локаут. Все мануфактурные и другие фабрики остановились. Рабочим полякам была нужна товарищеская помощь. Наряду с многими предпринятиями России отозвался и Коломенский завод. По неизвестной для меня рекомендации на меня пал выбор быть сборщиком средств в пользу Лодзинских рабочих. Подписные листы я получал от некоего т. Харкевича. Сбор происходил добровольный, кто что даст. Делалось это в тайне, где за вагранкой, где за опокой, в сушилках, более всего в обеденное время. И, как водится, тайна сделалась явной и мне по совету т. Харкевича пришлось сказать Коломенскому заводу «до свиданья». Нужно бы сказать «прощай». В завод после этого я никогда не возвращался.

В конце августа 1909 г. я прибыл в Москву и устроился при помощи земляка швейцаром в дом купца Привалова на берегу канала против Кремля. В эту пору в Москве издавалась газета «Доля бедняка». Я послал стихотворение, оно было напечатано. Вскоре после этого Привалов за пустяковую, недосмотренную мной неряшливость в парадной, –

хотел меня поколотить. Я не позволил. На его дерзость наговорил охапку колючих слов и взял расчёт, хотя меня и не отпускали.

Привалов принадлежал к типу рассеянных или не мстящих самодуров. Мне его же управляющий однажды рассказал такую историю. На дворе у верстака домовый водопроводчик нарезал трубы. День был из ненастных. Проходивший двором Привалов имел зонтик, которым ни с чего ни с того сунул в мягкую часть водопроводчика. У рабочего в руках была какая-то железяка. Хулиган хозяин бросился наутек, железо полетело в беглеца и угодило в спину. Тем и кончилось. Будто ничего и не случилось. Это как-будто относится к чудачеству пресытившегося нахала.

А будет ли чудачеством следующее?

У Привалова в Москве было пять домов, огромная оптовая торговля на Балчуге, недалеко от Чугунного моста, и солидный канатный завод в Коломне. Завод был хорошо застрахован, а поэту [поэтому – **прим. ред.**] и сгорел, положив в карман владельца не одну тыщонку кредиток. Пожар был с человеческими жертвами. В дореволюционные времена таких Приваловых были не единицы. На огне многие из них обогачались. Понастроит пройдоха из каких-нибудь гнилушек несколько простых сараев, позамажет щели, подпудрит-подкрасит. Назовёт фабрикой или заводом, застрахует сразу в нескольких агентствах. Побрызжет украдкой керосином сооружения и спичку в ход. Дешево, сердито и денег уйма.

Покончив со швейцарством, я перекочевал в редакцию «Доли Бедняка» на должность секретаря.

Основателем этой газеты – она имела формат журнала в 8 страниц – были Травин Петр Александрович и Филипп Степанович Шукулев, автор известной песни «Мы кузнец [кузнецы – **прим. ред.**] и друг наш молот». Травин был по профессии столляр, а Шукулев – рабочий, искалечивший еще в юности правую руку на ткацкой фабрике. Он писал левой, сверху вниз, и его стихи были по внешности похожи на китайские иероглифы.

Денег на издание газеты не было. Друзья по перу собрали некоторые вещицы – да в ломбард. Бумагу согласился отпустить купец Кувшинов с Варварки, а печатать – типограф Кинеловский на Арбате. Цена газеты была копейка или две (точно не помню), первый тираж около 10000 экземпляров. И дело пошло.

«Доля Бедняка» была самой левой газетой. Она даже не уступала анзимировской «Копейке». Первыми сотрудниками газеты были Нечаев, Деев-Хомяковский, Волков, Варлыгин, Филимонов, Савин, Праскунин и многие другие народные писатели Суриковского кружка. Потом примкнули рабочие московских предприятий. Были корреспонденты и извне. В одном из номеров «Доли Бедняка» было напечатано стихотворение Есенина «Прялка», когда ему было около 14 лет.

Печатались рассказы, стихи, земледельческие указания Филимонова и письма – жалобы рабочих на неправду на заводах. Хорошей грамотностью и литературным совершенством «Доля Бедняка» не отличалась, но защиту обиженных она вела правильно и настойчиво. Не беда, что она иногда и хныкала!

Некоторое время спустя появился журнал «Остряк», а затем «Рожок». Журналы были с ри-

сунками. Чтобы не расхотеться на художников, делалось так: покупались допотопные журналы на Сухаревке у букинистов, выбирались подходящие к современности рисунки и делались клише. Под картинками помещались небольшие стихи, с перцем, за что сплошь и рядом журналы арестовывались. Например, в одном из номеров «Остряка» была помещена такая иллюстрация: стоит голое дерево, сучья унизаны <полны оципанных – **зачёркнуто авт.**> тощими галками с разинутыми клювами. У подножья ветлы большое корыто с отборным зерном пшеницы. По концам корыта сидят две птицы – помесь попугая с филином, на птицах шитые золотом виц-мундиры. Под этой картинкой был напечатан совет галкам слететь с дерева, оципать чиновных птиц и наклевать пшеницы сколько зоба примут.

Всё это, конечно, помиловано не было.

Как-то в нашу редакцию неизвестный студент принёс секретный циркуляр Столыпина губернаторам всей России. В нем говорилось: «ввиду предстоящего хорошего урожая нынешним летом, принять по осени все меры к зысканию крестьянских недоимок».

Студент ручался за подлинник циркуляра и просил на него отозваться печатно. В результате была написана мной молитва. Начиналась она так:

Боже, с летом плодородным
Нас сторонкой обойди,
Всё равно нам быть голодным,
Милость сытым поблюди.

Эта молитва имела от Московской Судебной Палаты в Кремле 73 ст., <карающую – **зачёркнуто авт.**> каравшую за богохульство. Спасибо адвокату Киреевскому, защищавшему автора. Он прочитал в суде молитву Лермонтова, в которой гусар просил бога избавить его от куртки тесной и надоевшего вахмистра. От богохульства я был освобожден, но кощунство за мной осталось.

Помню подходило <...> 19 февраля 1911 г. – Юбилейная дата освобождения крестьян от крепостной зависимости. Мы собрались и решили выпустить журнал «Рожок» более боевым, заранее зная, что за это не поздоровится. Так и получилось. <...> Журнал конфисковали, а Травина, Шукулева и Праскунина порознь отвезли в Гнездиковский переулоч, в охранку, и распахали по отдельным куткам. На пятые сутки после ареста пригласили в канцелярию, где жандармский полковник показал нам журнал «Рожок», на первой странице которого была резолюция московского полицеймейстера Адриянова, написанная синим карандашом:

«**Прозвести обыски и, не смотря на результаты, арестовать».**

Жандарм нам объявил, что это только предупреждение. Если, мол, вы будете и впредь задиристыми, то пеняйте только на себя.

А ещё вот какая была история. Весной 1910 г., вдова убитого московского губернатора Сергея Александровича, студентом Каляевым, Елизавета Александровна [Фёдоровна – **прим. ред.**] основала на Ардынке [Ордынка – **прим. ред.**] какую-то древнеапостольскую общину и присвоила себе чин диаконисы. Это было в одно из воскресений. Об этом никто из нас не знал. И лишь по случайному совпа-

дению в то же воскресенье появилось в «Доле Бедняка» моё стихотворение «Невесты Христа». Оно начиналось так:

В дали от соблазненного мира,
Где губит людей суета,
Полнеют и пухнут от жира
Младые невесты Христа.

Страшного и обидного, кажется, ничего не было, а каша могла бы завариться несъедобной. В злополучное воскресенье злополучный номер газеты оказался на даче графа [Юсупова – **дописано автором внизу листа**] в селе Архангельском, под Москвой. На даче были: княгиня Елизавета Федоровна, Московский митрополит, кажется, Владимир, Московский губернатор Джунковский и сам хозяин граф Юсупов.

Елизавета настаивала разгромить наш коллектив и выгнать из Москвы. Помешал этому Джунковский, не стоит, мол, стрелять из пушек по воробьям.

Всё это я узнал от юсуповского кучера. **<Поклонника скромных талантов нашей редакции – зачёр-**

кнуто авт.>. Разговор о нас слышала прислуга графа Юсупова, **<в том числе и кучер. Большие люди мелюзги не стесняются – зачёркнуто авт.>**.

Подписчиками на наши издания были рабочие, крестьяне и несколько особ духовного звания. Были подписчиками генерал Джунковский и епископ Евлогий. Хотя на рожон мы напирали с оглядкой, всё же нашу литературу разгромили. Досталось и нашей тройке. Меня приговорили к двум годам крепости, Шкулева к году тюрьмы, Травин был вынужден скрываться. Он сбрил бороду, уничтожил косматую шевелюру, достал подложный паспорт и благополучно дотянул до амнистии в честь трехсотлетия дома Романовых, по которой литературные преступления освобождались от кары.

Наказание я отбывал в Таганской тюрьме, по режиму, положенному в крепостях. Я, как и все политические, ходил в своем платье, а не в арестантском. Пользовался пищей с отдельной кухни, получал в месяц 6 рублей от казны на хлеб, суп и прочее.

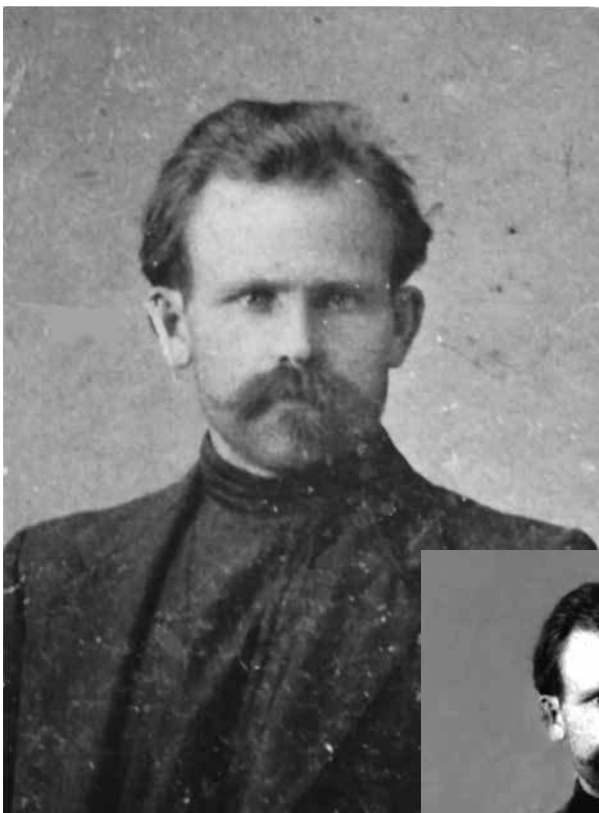
В крепость меня доставили в половине июня 1911 г. и водворили в одиночку, тщательно обыскав, чуть ли не обнюхав. Мною была подана кассационная жалоба в Сенат, по- этому я и был временно изолирован от товарищей. В Таганке было политических до 600 человек, уголовных до 1500. В случае совместных протестов, все заключенные составляли одну семью.

В мае 1912 г., в какой-то «царский» день, часовой внутреннего двора был под хмельком. На подоконнике четвертого этажа сидел анархист, приговоренный к шести годам каторги. Часовой с примесью матерщины предложил заключенному освободить подоконник. Заключенный крикнул часовому, что лаяться нельзя. Последовал раскатистый выстрел берданки. Человек с подоконника упал. Эта сцена хорошо была видна из противоположного корпуса уголовных. Тут же началась обструкция, к ней присоединились политические! Что называлось обструкцией? А вот что: разбивались вдребезги оконные стекла, из камер во двор выбрасывалось все, что пролезало в решетки. Все это сопровождалось большим шумом и проклятиями.

После, как выяснилось, мы узнали, что анархист каторжанин отделался только испугом. Пуля его не задела, застряв в штукатурке потолка. Политические потребовали наказания часового и перевода анархиста в другую тюрьму. Часовой был уволен, а анархист, дождавшись партии, отправился на каторгу. Я видел и слышал кандалы, в Таганке их носили только уголовные. Не дай бог никому их видеть и слышать.

В праздничные дни мы ходили в тюремную церковь, конечно, не для молитвы. В церкви были два барьера. Они тянулись от задних дверей до амвона. За левым барьером становились политические, за правым – уголовные. В промежутке помещалась стража.

Первый раз я был в церкви в праздник Успенья в 1911 г. Праздник <...> считался боль-



М.В. Праскунин.
1911-1912 гг. [?]

Фото из «тюремного дела» поэта
и восстановленная копия
из личного архива
С.В. Лысенко
(правнука И.И. Морозова –
друга и соратника Праскунина)

шим, двадцатилетие. Поп молящихся мазал «миром», мазью оливкового масла с примесью чего-то душистого. Малюя крест кисточкою на лбу верующего, батька произносил: «Печать дара духа святого». По церковным канонам эта процедура приближала потаманного чуть ли не к ангельскому званию. Вот тут-то я впервые увидел и услышал кандалы. Несчастные владельцы цепей подходили гуськом за благодатью. Страшней и печальней этого события я не встречал на свете, при воспоминании и сейчас появляются на теле мурашки и <от досады> хочется долго и горько плакать. Трудно понять, откуда наберались попы явного безбожия, лжи и нахальства, чтобы по найму выполнять любую подлость. Можно с уверенностью сказать, что жрецы самая продажная каста.

Кстати, еще об одном тяжелом событии. Когда Сенат отклонил мою кассационную жалобу, мне тюремное начальство предложило перебраться в общую камеру. Я согласился. В одиночке я пробыл около пяти месяцев. Хотелось быть с народом...

Дело было глубокой осенью, мы вышли на прогулку, приблизительно человек 40. Среди [*нас – добавлено ред.*] был товарищ с книгой, он любил почему-то на ходу читать. Вероятно, находил это оригинальным, а может быть и по другим причинам. Нашего товарища, шагавшего по асфальтовому кругу с раскрытой книгой, заметил из окна тюремной конторы какой-то инспектор или ревизор. И на вечерней поверке нам объявили, что с книгами гулять не позволено. Среди нас было немало горячих голов и нервных душ. Запрет начальства был принят как вызов, как посягательство на наши права. Камера вынесла постановление: отказаться от прогулок и от свиданий с родными. Я доказывал, что в камере можно читать сколько угодно и очень невыгодно лишать себя прогулок и свиданий. Мне напомнили о некоторых принципах и посоветовали несколько поумнеть. Утром следующего дня камера не пошла на прогулку. Пришлось мне одному шагать по асфальтовому кругу. В моё отсутствие была написана бумажка и положена на мой столик. В ней значилось: «Объявлен бойкот с исключением из коммуны», т.е. с лишением права сидеть за общим обеденным столом.

Удар был равносильным удару по голове хорошей дубиной. Быть мертвецом среди живых страшной самой грозной анафемы. Больше [м.б. «После?» – прим. ред.] двух недель ужасного режима я перешел в одиночку. После общей камеры она показалась мне не лучше бойкота. Просидев месяц, я снова перепросился в общую. За это время мои товарищи, кое-что взвесив, все мне простили и снова дружелюбно приняли в общую семью.

С 1912 г. самодержавие, с целью разложения политических, стало давать крепость уголовникам. Однажды к нам вселили проворовавшегося кассира, потом чиновника главного московского почтамта. Чиновник, как две капли воды, был похож на Гоголя. И нос большой, и длинные волосы с косым пробором. Внешность не обманула. Чиновник оказался причастным к литературе. Он в течение года, путем изъятия из посылок книг, он соорудил собственную библиотеку, в которой было более двух тысяч экземпляров книг: русской и заграничной классической литературы. Как-то к нам еще подсунули оперного тенора, с толстой отвисшей нижней губой и женоподобным задом. Тенор обла-

дал солидным запасом анекдотов не особо хорошего свойства. Мы немного поднадужились и удалили из своей среды чужаков. Администрация тюрьмы с политическими считалась, тем более, что Таганка находилась не на Сахалине, а в Москве. Связь с городом была не плохая. За нас вступалась учащаяся молодежь, либеральная интеллигенция и печать.

Очень жаль, что я не знаю, жив ли один замечательный человек, верный товарищ и неугомонный болельщик за все благородное и прекрасное. Речь идет о художнике Иване Ерастовиче Зайцеве. Он был приговорен к шести годам крепости за производство самодельных бомб в 1905 г. Его товарищи бр. Мазуровы были повешены в Таганке, как участники вооруженного восстания. Иван Ерастович уцелел благодаря ходатайству великой княгини Елизаветы Федоровны. Он был у её супруга Сергея Александровича придворным художником.

В Таганке Иван Ерастович был нашим старостой и, даже, заступником. Чтобы завоевать некоторую свободу, он намалевал масляными красками портреты начальника Таганки полковника Яковлева и его помощника добродушного толстяка и пьяницы Яши. Яше было лет 50.

Иван Ерастович занимал две одиночные камеры: одну как спальню, а другую, как студию. Во второй он писал картины. Имел керосинку, на которой кроме клея варил сиропы, варенья. При Иване Ерастовиче раскисать не приходилось. Чуть, бывало, заметит приунывшего товарища – вмиг угостит или вареньем, или задушевною словом. Его камеры не запирались и он частенько заглядывал через форточки в дверях в <камеры – зачёркнуто авт.> кельи товарищей. Он был хорошего роста, носил большую бороду. Походка у него была медвежья, в развалку. Лопатки сутуловаты. Речь грубоватая. Внешность неряшливая.

Были случаи подсовывания к нам шпионов-прокатчиков. Двух я хорошо помню. Студента Духовной Академии, мрачного, прыщеватого субъекта, и Сытинского наборщика Николаева, плюгавого, низкорослого человечка. Они были расстреляны революцией. Охранка не сумела уничтожить документы, изоблачающие прохвостов предателей.

В тюрьме политические время даром не тратили – учились. Сообща читали, играли в шахматы. Шахматная доска была художественной поделки. В центре доски выжиганием был нарисован кот, живущий в общей камере. Вокруг кота в каждой клетке фамилии заключенных. Доска могла бы быть украшением музея революции. Возможно, что она пропала.

Очень жаль, что я не учился. Я только читал и заполнял прошнурованную тетрадь стихами. Некоторые из них вошли в сборник «Полюнь на родных полях».

[Далее в рукописи следует пустая страница и большой «временной» пропуск – прим. ред.]

Около 10 лет я работал в Отделе народного образования Луховицкой волости [*здесь фраза написана неразборчиво – прим. ред.*], где меня в шутку величали Луначарским. Добывал учебники, забо-



М.В. Праскунин с семьёй

тился о топливе и, даже, о стенных газетах. Мне однажды потребовались сведения о селькорах. Пришлось по сельсоветам направить соответствующие бумажки. Какие же были ответы. Вот один из них: «В Выкопанском сельсовете триста сельских коров». Председатель товарищ Чिशлов сокращенное слово «селькоров» понял по-своему и порадовал меня удачным каламбуром.

Помню еще такой курьез: на Луховицком базаре начала возникать торговля. Милиция имела указание не допускать куплю и продажу, чего бы не было. Один из милиционеров грубо турнул старушку, продававшую связку лык. Народ обиделся, и получилась суматоха. При отступлении блюстителей порядка, некто Орлов поймал за горло милиционера Чудинова и маленько его помял. Орлова попросили в Зарайск к ответу и спросили: «Почему ты напал на милиционера?» Орлов ответил: «Я думал, что власть сменилась». Мужика подержали недели две и отпустили с миром.

Кстати, еще один факт.

Когда я работал сторожем в Луховицкой конторе Главмолоко, мне иногда приходилось бывать на молочных заводах. На одном из них (Белоомутском) мне пришлось быть очевидцем следующего. В конторе этого завода стоял стол. На одном конце занимался молочный мастер, а на другом счетовод. Над первым концом стола в простенке висел портрет Карла Маркса, над вторым – И. В. Сталина.

Под первым портретом был небольшой плакатец с надписью «Молочный мастер», под вторым – с надписью «Счетовод». Плакатцы были убраны тут же.

Не виновата ли судьба, что я немало в жизни видел смешного и уродливого?

<...>



Публикацией заметки А. Н. Потапова «Музе солнечной батрачу...» и «Автобиографии» М. В. Праскунина мы отмечаем 140-летний юбилей замечательного поэта из народа, поэта-суриковца, пламенного деятеля рабоче-крестьянской литературы предреволюционных и первых революционных лет, человека воистину с «пламенной душой» – Михаила Васильевича Праскунина (1877–1959 гг.). Надо отметить, что имя и произведения Праскунина, к сожалению, неизвестны широкому кругу читателей. Хотя на родине поэта, в Луховицком крае, его имя свято чтут, произведения знают (стихотворения Михаила Васильевича опубликованы, например, во всех пяти сборниках луховицких поэтов «Земляки»). В Луховицах была впервые полностью опубликована и «Автобиография» Праскунина (см.: сборник «Страницы родной истории». – Луховицы: Серебро Слов, 2013. – С. 14–33). Эта публикация состоялась благодаря помощи издателя, мецената Сергея Сергеевича Антипова и издателя Дениса Викторовича Минаева. Рукопись Михаила Васильевича пролежала в Московском архиве почти полвека, и лишь после её публикации читателям стали известны многие интересные факты биографии поэта. Надеемся, что и наша публикация будет интересна и полезна читателям, позволит всем исследователям и любителям русской поэзии глубже изучить жизнь и творчество подлинно народного поэта – Михаила Васильевича Праскунина.

В. Когтев, краевед,
г. Луховицы, Московская обл.